

Анастасия Юркевич не новичок на поэтическом поприще. Более того, желание принять участие в номере с австрийским акцентом, позволило ей и её читателям оглянуться назад, обратиться к ранним стихам. Тут и обнаруживаются истоки того поэтического характера, который сложился у автора на сегодняшний день, но так очевидно проглядывавший тогда. Точное слово, свободное дыхание поэтической речи изначально присущи её стихам.

Д. Ч.

* * *

...снег. словно потерянный, слепой март
туго наслаивает, забивает сонной прохладой
теплую лепнину – плотничает, сучает. шоферы
такси сегодня отчего-то все – женщины, и группа
китайцев, только что вышедшая из отопленного
помещения, вся сплошь в черном,
ловит на теплый фетр тrefы маленьких,
последних в этом году
снежинок...

БАВИЛОН

Л.

Мне снилось сегодня, что ты живешь в Вавилонской башне,
шаткой такой и длинной, из темно-красного кирпича,
в серое небо ушедшей значительно выше вчерашней
Брейгелевой. Где-то вверху, глазу невидимые, крича и
ругаясь, строители явно не из последних и явно вошедшие в раж, ни-
сколько не думая об объеме, вкручивали наподобье смерча

узкое здание штопором между землей и фабричной сажей –
так высоко, что птицы, с криком недобрым вокруг кружа

без всякой видимой цели, не достигали даже самого что ни на есть безобидного, вполне еще нижнего этажа (в их перспективе нарочитая индустриальность сего пейзажа напоминала менее Брейгеля, более Dublin). Внизу, дрожа,

мудрецы воробьиною стайкой корпели над эсперанто или другою какой волапюкскою вязью, мнимой надеждой полные, не щадя живота и таланта – впрочем, судя по опыту, определенно всуе. Засим и пусть дураки корпят над юркой своею правдой: нам-то что? Вот уж воистину, эк куда тебя занесло, любимый...

А мы-то все думали, отчего нам понять друг друга сложно? Мне чудится: там, в вышине, ты стоишь у окна, рукой беззвучные чертишь знаки, из всех языков, возможно дотоле тебе известных, навек позабыв любой, и мне никак не понять: то ли подняться можно, то ли, напротив, не стоит, то ли вообще другой

знак какой-то... Но скорее всего ты, правда, вовсе меня не видя, рассеянно смотришь вниз (что бесполезно, впрочем: с такой-то выси не только лиц, но и вообще чего-либо не различить, кроме разве что падекатра снежинок в вечерней сини), строишь планы на завтра и, чуть шевеля губами, машинально считаешь птиц.

* * *

Не заработали на тамаду да шафера,
Не накопили даже дурных привычек.
Жизнь, разбазарив по мелочи все метафоры,
Словно прямая речь, лишена кавычек.

Что на сегодня? Чужая земля исхожена,
Шибко нерадостны вести из-за кордона,
И облака под крылом самолета похожи на
Переплетение змей у ног Лаокоона.

Вот, возвращаясь с тобой из музея Пушкина,
Мама в метро говорит: «Погоди немножко...»
Из разноцветных кубов – сколько на жизнь отпущено –
Пятачки сыпаются прямо тебе в ладошку.

И все же весел бес сегодняшнего дня!..
Вновь тихий теплый мир автобусного царства,
Поеживаясь, ревностно храня
За пазухой, меж пузырьков с лекарством,
Обрывки снов, их теплые мытарства,
Сквозь стекла мутные приветствует меня.

Садись к окну, не потревожив зябких грез,
Авось пригрется наохлившийся птенчик
Твоих тревог. То весел, то застенчив
Печет и плачет март, но плачет не всерьез:
Окрестные поля от этих детских слез
Распухли. Влажно. Ветер переменчив.

Поверь, всё встанет на свои места.
Хотя бы потому, что наша жизнь проста,
Как этот сельский мир – тот сеятель, тот пахарь.
Садись к окну и сосчитай до ста,
Покуда горный бог по правильным местам
Кусками глыбкими раскладывает сахар.

* * *

И камни заплачут: где дети твои, Ниобея?
Двенадцать детей, как двенадцать судов Одиссея.
Полжизни уже от богов ни намёка, ни знака.
Он отдал бы всё, чтобы просто обнять Телемаха.

Двенадцать колец для стрелы Одиссеева лука.
Двенадцатый раз вокруг кургана убитого друга.
В ослепшем светильнике масло от мести прогоркло:
Двенадцать могил не вернут тебе жизни Патрокла.

Прощай, Андромаха. Не надо, при детях не стоит.
Двенадцатый день. Обречённая, тихая Троя.
Молчат на Олимпе и вряд ли придут нам на помощь.
А стрелки дрожат и никак не сорвутся за полночь.

* * *

Ноябрь. На дворе трава, на траве – дрова.
Рано смеркается, мыши друг к другу в хворосте
Зябко жмутся, дышат едва-едва.
С утра труднее проснуться, но в тридцать два
Вряд ли имеет смысл говорить о возрасте.

Скорее всего, это просто грядет зима,
Заройся и ты поглубже и жди, покуда
Однажды с утра намерзшая бахрома
На окнах и этот свет, разлитый повсюду,
Вновь не заполнят все твои закрома
Вот уж который раз – ощущением чуда.

НОВЫЙ ДОМ

Не было – теперь есть:
Стекла и бетона смесь.
Загородив проход,
Гремит, громоздит, растет.

Загородив просвет,
Знай, примеривает,
Прикидывает на себя
Десятилетия.

Мне ж – домотать бы срок.
Вырванный неба клочок.
Хлеб наш насущный днесь...
Я не останусь здесь.

* * *

Середина июля, пахнет осенью,
Небо только изредка взрежет просинью,
И знакомый луг затянулся охрою
Переспелой, мокрою.

Ты вдыхала сырость, считала дни
Год за годом заново, а они

Между тем прошли своим чередом.
Едва ли на месте том

Нынче пусто: скорее, подходит срок
Запасаться впрок да палить в сорок,
Что взвились, растерянно стрекоча,
Над опрятным домиком палача.

ПСУ В МЕТРО

М. Шербу

Положи печаль на лапы,
Посидим с тобой вдвоем.
Кто кайлом, кто тихой сапой
Пусть свое берут нахрапом
Те, кто знают, что почем.

Неглубоко под землю
Помолчим и переждем:
Больно ветры шибко воют
Над сегодняшней Москвою,
Бьют то снегом, то дождем.

На последний не успевший,
Рядом грязный имярек
Мутным взглядом снизу-вверх
Из-под Виевых под век
Мерит кафель запотевший.

Если вычленишь живое
Из подземной маеты,
Здесь живого – мы с тобою,
Здесь живого – только двое:
Ты да я, да я да ты.

Всё, что мы с тобой имели,
Словно щука от Емели –
Юрк! – в подземный переход.
Видишь, там, в конце туннеля,
Вместо света – слово «Вход»?

Что ж, приятель бессловесный,
Подымайся – и за мной!

Всё, что снег накуролесил
Над бессмысленной страной,
Всё, что вьюгой затяжной
Он упрятал и завесил,

Мы оставим – ты да я.
Выйдем. Тает. Ночь двоя,
Смерть гудит тугим контральто.
Средь чужого бытия
Отразится жизнь твоя,
А за нею жизнь моя,
В черном зеркале асфальта.

AM BANNHOF

About suffering they were never wrong, the Old Masters...
W.H. Auden.

На мостовой весенней у вокзала
Два полицейских били человека.
Кругом толпа притихшая стояла,
И было всё, как будто бы полвека
Списали со счетов, как не бывало.

И было всё – как Брейгелев Icarus:
Обыденной и незамысловатой
Тащилась повседневность, ветер парус
Старательно мусолил, с перекатом
Толкая волны; хмурый и лохматый
Шагал крестьянин, подымая плугом ярус
За ярусом...

И вдруг как будто – всплеск
И эти крылья, эта неумелость
И этот глупый воск... Абсурд, гротеск,
Беспомощность... И ничего не сделать!
Мальчишка!.. Этот ужас, этот блеск
Свинцовый, эта страшная блесна
И эта боль, и эта бесконечность
Страдания, а дальше – глубина
Прохладная. Бессмысленность, беспечность!
Какой-то бульк!..

А между тем – весна,
Магнолии. И человек встает.
Ему не очень больно, только стыдно
И горестно. Он вытирает рот
Ладонью, что-то сплевывает, видно,
Малоприятное. И медленно идет

К пятиэтажкам. И над всеми, да,
Горит шестиконечная звезда.

Зальцбург/Москва, 2003-2005